

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ
КРИТИКИ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ

ВОПРОСЫ ЛИТЕРАТУРЫ

Июнь 1991

В НОМЕРЕ:

Реализм авангарда

Трагедия П. Васильева

**Посмертная судьба
произведений И. Бабеля**

Статьи о литературе А. Бема

Эссе нобелевского лауреата Ч. Милоша

**Вл. Сосинский. Воспоминания
об А. Ремизове, А. Алехине,
братьях Модильяни и других**

Письма А. Н. Толстого Вяч. Иванову

ИЗВЕСТИЯ
МОСКВА

Публикации

Воспоминания Сообщения

Владимир СОСИНСКИЙ

КОНУРКА

(Об Алексее Ремизове, Александре Алексине,
братьях Модильяни и других)

Отрывки

В эмигрантских литературных кругах в середине 20-х годов Владимира Сосинского нередко ставили рядом с Набоковым как молодого и многообещающего писателя. В 1927 году в журнале "Воля России" литератор Постников назвал только трех молодых авторов, имеющих свою писательскую индивидуальность, — Вл. Сирина (Набокова), Вл. Сосинского и В. Федорова. Сегодня весь литературный мир знает Набокова, но мало кто слышал о Сосинском.

Владимир (Бронислав) Брониславович Сосинский родился в Луганске 21 августа 1900 года. Его отец, Бронислав Эдуардович Сосинский, был инженером, семья часто переезжала из одного города в другой. В реальных училищах "Брунчик" блистал по части словесности. Гражданская война прервала естественное развитие молодого человека: последовали два долгих года в седле — Сосинский попал в Елизаветградский полк Добровольческой армии Деникина и затем Врангеля.

* См.: В. Г. Федоров, Канаречное счастье, 1990, с.8.

Намного позже, в Москве в начале 80-х годов, Владимир Брониславович повесил в своей кухне портрет Ленина с надписью: "Я благодарен этому человеку за прекрасные сорок лет за рубежом". В эти же годы в его квартире висел портрет Солженицына, и новых людей, появившихся в квартире, Владимир Брониславович спрашивал: "Знаете ли вы, кто это?" Именно в этой смеси шуточного и серьезного, мужества и легкомыслия — весь Сосинский.

Как писатель и человек Сосинский сформировался в дореволюционной России и эмиграции. Стать "советским писателем" он так и не сумел: помешала глубокая внутренняя порядочность.

В 1939 году Сосинский, заядлый курильщик, отложил папиросы, сказав, что не притронется к ним, пока Гитлер будет у власти, и ушел добровольцем в иностранный легион французской армии сводить "личные счета" с Гитлером на фронте. Ранение, немецкий лагерь смерти, движение Сопротивления — другого эти испытания ожесточили бы, но я с самого детства помню отца как удивительно жизнерадостного и общительного человека.

Уже в Москве дверь квартиры Сосинских никогда не закрывалась на ключ, а часто просто была настежь открыта, к ужасу соседей. Но сама судьба как будто бы хранила нашу семью и от квартирных краж, и от сталинских лагерей. Получившему как участник Сопротивления советское гражданство отцу было разрешено посетить Россию, но не в страшном 1948-м, а только в 1960 году.

В России Сосинский общался с такими людьми, как Пастернак, Ахматова и Чуковский. Этого было вполне достаточно, думается мне, чтобы оправдать наше возвращение в Россию, на общем фоне относительно благополучное. Не сумев добиться официального признания, отец черпал душевные силы в общении с молодежью, и долгие годы его квартира на Ленинском проспекте была местом, где каждый мог получить из первых рук сведения о Ремизове, Цветаевой, Бабеле, Поплавском, Георгии Иванове, о всей парижской эмиграции.

Творчество Вл. Сосинского делится на два периода: 20-е — начало 30-х и 60 — 80-е годы. В первый период он выступал как критик и автор рассказов. Во второй — написал несколько повестей. Небольшие отрывки его прозы, которые печатались в Советском Союзе, нещадно коверкались редакторами в угоду тогдашней цензуре.

Владимир Брониславович не дожил трех лет до своего девяностолетия. Последние месяцы жизни, уже в тяжелом физическом состоянии, он снова и снова повторял:

Я сидел у окна в переполненном зале.
Где-то пели смычки о любви.
Я послал тебе черную розу в бокале
Золотого, как небо, ай.

Париж. Улица Буало — прославленного в веках автора "Поэтического искусства", теоретика классицизма.

Здесь в доме № 7 долгие годы прожил Алексей Михайлович Ремизов. Здесь умерла Серафима Павловна Ремизова-Довгелло, которой он посвятил все свои книги. Здесь и он сам умер, в этом доме.

Хочу сказать: кто хоть раз его видел — не забудет до конца своих дней. Тысячи встреч будет, а эту — никогда.

Кто прочел хоть одну его строку, крепко сколоченную мастерством Аввакума, всюду ее вспомнит и узнает: она, ремизовская строка! Тысячи прочитанных или услышанных на театре строк забудет, выветрятся они временем и склерозом, но эту не забудет.

"Наш дом громкий — в улицу: БУАЛО! А по налогам "люкс". Правда, одна лестница... но на лестнице ковер с медными прутиками; правда и то, что прутики не везде крепко держатся и который-нибудь непременно отвалится и оттого образуются пропалые места, особенно чувствительные, когда выносишь "ордю", но для налога это не в счет: написано — "люкс". На каждой площадке по семи квартир — очень тесное соприкосновение, и не мудрено, что все так громко и всякому вслух и на разумение...

Улица опустела. Затихший было дом наполнился звуками. А сумерки с дождем, вычеркивая еще день жизни, впустили ранний вечер. Я зажег лампу. Присел к столу.

Праздник слова!

Я знаю и теперь могу сказать: в этой жизни я был зачарован словом.

Слово! Когда говорят — Европа, Азия, Египет, о чем говорят? О слове. Все памятники искусства рушатся: смотрите, песок пустыни и дикая степь. Но слово... И я представляю себе ту последнюю минуту, когда слово осталось без уст — его нельзя сжечь, его нельзя отравить — и оно подымется и отлетит, трепетом самозвуча, со своим последним горьким словом:

— Так зачем же все это было дано человеку на проклятой Богом земле?"

И вот, дорогой Алексей Михайлович, я подошел к тому, о чем завел речь сегодня и для чего вас вспоминаю. У меня тоже "праздник слова". "Зажег лампу. Присел к столу". На этом празднике слова я в полном одиночестве. Так начинаю я свою "Конурку".

У Ожегова сказано: "Конура — будочка для собаки;

уменьш. конурка". У нас с вами, Алексей Михайлович, "конурка" нечто совсем другое. Я сейчас поясню читателям.

Когда я писал свои автобиографические повести "Я сызнова живу", "Битва за Францию", "Организация Объединенных Наций" или когда составлял сборник своих избранных рассказов "В гостях у времени" и монографию об Альбере Скира "Hommage à l'Éditeur" — не все уместилось в эти книги, многое оставалось за бортом, за краем письменного стола. Но все, что уходило за этот край, не пропадало, я аккуратно складывал забракованные листки, которые были, оказывается, самые интересные, в жестяную коробку от печенья — в "конурку". Почему именно "конурку"? А вот почему.

"В "кукушкиной" (где часы с кукушкой) будем чай пить с "конуркой" — коробка с сухариками, каждый раз подкладывается, из-подо дна можно вынуть и рождественское, а в середине пасхальное..." То есть то, что от пирушек на улице Буало оставалось недоеденным.

Вадима Леонидовича Андреева, Даниила Георгиевича Резникова и меня — неразлучная на столетия тройка — Алексей Михайлович называл "Жуками".

Всякий раз, когда мы пили чай в "кукушкиной" или на кухне, Алексей Михайлович объявлял:

— А для "Жуков" у меня кое-что припасено из очень вкусного, пасхального.

И открывал "конурку" с остатками от былых пиров.

Так и я нынче из своей "конурки" извлекаю разрозненные листки. И вот все эти остатки, не попавшие в книги, упавшие со стола, где шел пир, где был "праздник слова", собираю, переписываю, и таким образом рождается новая книга, десятая, если считать всю мою жизнь, и, по-видимому, уже последняя.

"МЫ ЛЕНИВЫ И НЕЛЮБОПЫТНЫ"

Это писал Пушкин в "Путешествии в Арзрум": "Как жаль, что Грибоедов не оставил своих записок! Написать его биографию было бы делом его друзей; но замечательные люди исчезают у нас, не оставляя по себе следов. Мы ленивы и нелюбопытны..."

Но в связи с этим меня волнует еще одна беда. Пройдет много лет, и я с горечью вспомню о своей нерадивости и об отсутствии любопытства, любознательности к выдающимся людям, с которыми меня сталкивала судьба, с которыми мог бы познакомиться и узнать их поближе —

была такая возможность, — но не познакомился и не узнал их ближе, все откладывал встречу с ними — успеется! И даже увидеть тех, кого уже знал, кого уже полюбил, часто не удосуживался увидеть еще раз: успеется, мол.

Из Нью-Йорка прилетел в Ленинград и, не успев повидать Ольги Дмитриевны Форш, человека редчайшего дарования и таланта, укатил в Москву, из Москвы на теплоходе "Украина" по Волге до Ростова-на-Дону и еще куда-то. А когда возвращался из Ленинграда в Нью-Йорк, этого большого друга всей нашей семьи уже не было в живых. И поручения ее дочери Нади Форш так и "не успел" выполнить. Следовало бы вычеркнуть из словаря русского языка это губительное слово "успеется". Как надо вычеркнуть из того же словаря "авось", "небось" и "как-нибудь" — этих трех китов, на которых держится Россия.

Мы ленивы и нелюбопытны.

Вот тому еще два доказательства.

Около Comédie Française в Париже, на площади Palais Royal, есть кафе, где часто бывают шахматисты. Как-то, вовсе не думая о шахматах, а мечтая лишь о кофе с круассанами, возвращаясь из Национальной библиотеки, зашел я в это кафе и увидел свободным лишь один стул перед столиком, за которым человек, сидя на диване вдоль стены из зеркал, играл сам с собой в шахматы.

— Vous permettez, monsieur?

А тот в ответ по-русски, сразу уловив во мне мою национальность:

— О! Очень приятно. Садитесь...

И после небольшой паузы:

— Может, сыграем?

— С удовольствием. Только заранее предупреждаю: играю я плохо.

— Вот и хорошо. Это как раз и нужно. Люблю играть с плохими игроками.

— Любите выигрывать?

— А какой шахматист этого не любит?

Мы сыграли несколько партий. Мне сразу стало ясно, что противник мне не по плечу: он легко и быстро справлялся со мною, как я ни старался быть бдительным, как ни напрягался всюю, стремясь разгадать замыслы противника, как ни мучил себя мечтой понять все хотя бы за пять ходов до грозящего мне поражения! И поэтому был очень удивлен, когда он, заканчивая наш блиц-матч, рассыпался в похвалах в мой адрес:

— Некоторые ваши ходы, на мой взгляд, были ошеломляющими, вы не раз меня ставили в тупик.

Простите, если это вам покажется нескромным: как вас зовут?

Я назвал себя.

— Позвольте, так не вы ли автор книги о Несторе Махно?

— Да, это я.

Новый поток комплиментов, может быть, на этот раз более заслуженных, поскольку к тому времени я уже был профессиональным писателем и даже секретарем редакции ежемесячника "Воля России".

— А я с кем имею честь?

— А вы меня не узнали? Алехин.

Тут уже с моей стороны полились испуганно-восторженные слова, и я просил Алехина простить меня за то, что я осмелился играть с ним. Конечно, по неведению. А на фотографиях он не такой, как в жизни. Заговорил я и о набоковской "Защите Лужина", спросив, согласен ли он с такой трактовкой шахматного чемпиона.

Прощаясь, Алехин посоветовал мне почаще заходить в это кафе. В частности, у него будет совсем свободный часок в ближайшее воскресенье часа в четыре. Он обещал ознакомить меня с несколькими теоретическими приемами, в которых я проявил определенную слабость, и обещал указать, какие ошибки я допустил в только что сыгранных партиях. Добавив, что у меня бывают и очень интересные ходы, например, в последней партии, — и на доске показал их мне.

Мы расстались, как расстанутся люди при возникновении новой дружбы.

Увы! Увы! Это была всего лишь моя первая и последняя встреча с чемпионом мира. Единственная.

И по моей вине.

Второе доказательство того, как я ленив и нелюбопытен. На этот раз это не кафе на Palais Royal, а седьмой дом по rue Буало.

Я был приглашен как типограф, как печатник (я чуть не назвал себя первопечатником, вспомнив, что Евгений Замятин подарил мне одну из своих книг с дарственной надписью: Иоганну Гутенбергу) на заседание Обезвельволпала, посвященное созданию нового издательства в Париже.

Издательство это возникало с единственной целью и программой: напечатать полный текст "Взвихренной Руси" Алексея Ремизова, отрывки из которой тогда впервые появлялись в различных ежемесячниках и альманахах Зарубежной России.

Об этой замечательной книге Андрей Белый говорил Вадиму Андрееву: "Если в поэзии лучшим произведением русской революции является "Двенадцать" Блока, то в прозе — само собой разумеется и за явностью и договаривать стыдно, — это "Взвихренная Русь" Ремизова".

Когда на заседании Палаты заговорили о названии издательства, я по какому-то наитию, неожиданно даже для самого себя разрешил спор, любуясь милovidными мордочками двух сестер Татьяны и Ирины Сергеевны:

— Господа, тут и спора быть не может! Имя перед нами, оно само смотрит на нас веселыми глазами:

Т А И Р!

Так родилось это издательство.

И вот тут произошло запомнившееся мне на всю мою долгую жизнь "это самое"! Я уже был в ту пору если еще не директором, то, во всяком случае, представителем недавно возникшей на rue Ménilmontant Франко-Славянской типографии. По совместительству я был и членом редколлегии одного из наших крупнейших ежемесячников, для которого фактически и была создана эта типография и который прославлен будет в истории русской литературы тем, что был единственным органом, печатавшим постоянно, из номера в номер, Марину Цветаеву и Алексея Ремизова.

Таким образом, для Татьяны и Ирины Рахманиновых я был очень важной персоной, и они решили на этом заседании Обезвельволпала пригласить меня к себе за город. И чтоб меня уже окончательно поставить в безвыходное положение, т. е. окончательно соблазнить меня, доверительно сообщили, что у них в ближайшее воскресенье и Шаляпин, и Стравинский, и Михаил Чехов.

Я, конечно, был очень рад этому приглашению и обещал быть.

Но что произошло в ближайший week-end? Уму непостижимо! Как раз в те дни я принимал участие в теннисном турнире и прошел уже два тура. В субботу, с трудом одолев одного серьезного противника — мне просто очень повезло, — уходя, я забыл посмотреть на таблицу, с кем я встречаюсь в следующем туре, в это роковое воскресенье.

Не было у меня никаких оснований, никаких таких важных дел, чтоб манкировать таким знакомством, как знакомство с великим музыкантом. Из-за какого-то тенниса?

И особенно досадно, что в то воскресенье в третьем туре я встречался не с кем другим, как с Христианом Боссю, тогда чуть ли не десятым игроком Франции, — в те

легендарные времена, когда во главе мирового тенниса блистали такие имена, как Коше, Лакост, Боротра и Брюнъон: д'Артаньян и три мушкетера. И незачем было ехать в Стад Роллан-Гаррос, чтоб получить от Боссю 6 — 0, 6 — 0. А главное, что при этом подвернуть себе к концу смехотворного матча ногу, сразу же распухшую в щиколотке, да так, что я совсем не мог ходить.

Не был я у Рахманиновых в то воскресенье. И не только в то: ни в какое! Не представилось в моей жизни другого случая.

К. Р.

Мне кажется, что история эта весьма любопытна, и если не вошла в историю государства Российского, то только потому, что в то время, когда она совершалась, о ней знало лишь три человека, а сегодня их давно уже нет на Божьем свете.

Я говорю в первую очередь о поэте и драматурге К. Р., о котором так сказано в нашей "Краткой литературной энциклопедии":

К. Р. [псевд. вел. кн. Константина Константиновича Романова; 1858, Стрельна — 1915, Павловск] — русский поэт. С 1889 — президент Академии наук; меланхолические стихи написаны банальным условно-поэтическим языком; автор исторической драмы "Царь Иудейский"; сб. статей о произведениях, представленных АН на соискание Пушкинской премии. Автор текста песни "Умер бедняга в больнице военной".

Знал об этой истории Николай II, последний самодержец всероссийский и главный герой этой истории, а третьим был Сергиевский, который мне ее и поведал.

Рассказ его до сих пор в печати не появлялся, да и не мог появиться, потому что относится к "тайнам мадридского двора", простите, петроградского! Произошло все это незадолго до февральской революции, и Сергиевский, чья память "незабвенного императора", эти тайны петроградского двора хранил много лет про себя, исходя из принципа "не выносить грязь из избы". Мне же он открылся совершенно случайно, сам не знаю как и почему он вдруг воспылал ко мне дружбой и доверием.

Возьмем сначала известные, проникшие в печать сведения. Во время первой мировой войны К. Р. написал драму "Царь Иудейский", как полагается, в пяти действиях с прологом и эпилогом. Не думаю, чтобы Михаил

Булгаков, пишучи "Мастера и Маргариту", что-нибудь позаимствовал из этой драмы, но наверняка ее читал, как и "Иуду Искаротского" Леонида Андреева. Само собой разумеется, что К. Р., уважая пожелания Святейшего синода и всей православной церкви, не ввел Христа как действующее лицо в свою драму, т. е. он не появляется на сцене. Он все пять действий до самого своего воскресения находится за кулисами. Булгакову в этом смысле было легче разворачиваться.

Вот теперь, когда все расставлено по местам, я могу и вам поведать тайну этого самого двора.

Дела на фронте были весьма скверные. А в эти тяжкие для России дни Верховный главнокомандующий в Могилевской ставке целиком был занят постановкой "Царя Иудейского" в придворном театре "Эрмитаж". Сначала царя ознакомили с "Царем", т. е. с текстом драмы. Царь начертил на рукописи: "Весьма одобряю". Режиссура была поручена Сергиевскому. Были приглашены лучшие актеры того времени. Приступили к репетициям. Начался ежедневный обмен телеграммами по прямому проводу между Могилевом и Петроградом. Царь входил буквально во все мелочи. Ему посылались эскизы декораций и костюмов. Возвращались они с краткими пометками, царскими рескриптами: "Не одобряю", "Надо укоротить хитон у Пилата", "Цвет туники не одобряю, перекрасить", "Дерево закрывает храм", "Крест стоит кривовато в сравнении с другими двумя".

И вдруг, когда все было готово и продумано для постановки, уже назначили генеральную репетицию в "Эрмитаже", пришла из Ставки грозная телеграмма:

"Не будем ставить "Царя" в декорациях и костюмах той эпохи. Пусть те же актеры играют свои роли во фраках и бальных платьях. Это будет как бы прочтение пьесы. Скажите Глазунову, что мне не понравилась его музыка к Крестному пути — переделать, чтоб было больше рыданий. Вызываю к себе К. Р. и Сергиевского".

Немцы занимали деревню за деревней, город за городом. Гибли русские солдаты без снарядов и пуль для винтовок. Переполнялись ранеными госпитали и полевые лазареты и в городах. Поток лилась русская кровь.

А царь беседовал с К. Р. и Сергиевским, с их отъездом опять пошли телеграммы из Могилева в Петроград.

Наконец было решено, что все актеры до премьеры приедут в Могилев, поскольку царь не мог в такие трудные времена отлучиться из Ставки: весьма тревожное положение на всех фронтах — от Балтийского до Черного

моря — требовало постоянного присутствия Верховного главнокомандующего в армии.

Актеры во фраках и вечерних платьях прочли все пять действий, не забыв пролога и эпилога, в Могилеве в присутствии царя. Царь во все вмешивался и всем мешал. Сергиевский и К. Р. были очень расстроены, актеры тоже — все были не в своей тарелке. Царь тоже.

Даже кончина автора пьесы, последовавшая 15 июля 1915 года, не приостановила этой грандиозной работы. Не знаю, чем бы эта драма о "Царе Иудейском" и ее постановке закончилась, если б не подоспела революция и царю земному не пришлось вскоре подписать акт об отречении.

БРАТЬЯ МОДИЛЬЯНИ

Художника Амадео Модильяни я в Париже уже не застал в живых: опоздал года на два, когда приехал из Берлина. Но зато Борис Поплавский познакомил меня с целым рядом его близких друзей. Боже, сколько имен, и каких: Тристан Тзара, шеф дадаистов; Сутин — Достоевский в живописи; Фужита — гордость Японии, о котором бережно храню карточку с переменной адреса, где художник изобразил себя везущим по улице двуколку со своим нищим скарбом, оцененным впоследствии в несколько сот тысяч долларов; Ларионов, создавший тогда у Дягилева чудеса декоративного искусства; Мане-Катц, ставший первым художником Израиля; наконец, Минчин, безвременно погибший гений. Они все были влюблены в Амадео и с трепетом произносили его имя.

Именно в это самое время уже начало сверкать всемирным блеском славы имя Модильяни. Монографии о нем появлялись десятками на всех языках. Одна его выставка сменялась другой — повсюду, начиная с Парижа и кончая Нью-Йорком. Журналы по искусству больше всех говорили о нем, точно Пикассо и Матисс уже ушли со сцены.

Я тоже был захвачен этим именем. Млел перед его ню, они снились мне по ночам. Женская красота в новых, невиданных доселе линиях и красках. Бедро, груди, бесконечная лебединая шея, увенчанная узеньким, ужасно печальным лицом. Что-то воистину новое было во всем этом и казалось нам вершиной в истории тех шедевров, на которые были способны в продолжение тысячелетий человеческие руки.

Модильяни! Недаром его так любила Анна Ахматова!

Недаром он рисовал ее в виде королевы или мадам Рекамье, возлежащей на диване! Недаром всю свою жизнь Анна Андреевна боготворила этот рисунок. Недаром Пабло Пикассо в последний год своей жизни сказал:

— Очень щедрой была моя жизнь на встречи с великими людьми века, особенно художниками. Но кого я запомнил больше всех, полюбил и люблю больше всех и оцениваю выше всех — это двух художников: один был итальянцем, другой — русским. Назвать их имена? Французы не обидятся? Эх! Была не была: теперь мне уже терять нечего! Тем более, что их обоих сформировал Париж. Амадео Модильяни и Сергей Шаршун.

Я работал тогда лнотипистом в Франко-Славянской типографии на улице Менильмонтан. В конце 20-х годов нашими главными клиентами были итальянцы. Итальянская социалистическая партия, лидеры которой после прихода к власти фашистов эмигрировали во Францию, — судьба их была похожа на нашу.

Самым видным из них был Филиппо Турати, человек с лицом самым уродливым из всех, кого мне довелось встречать, а в литературе я вижу только одного прототипа Турати: Квазимодо из "Собора Парижской богоматери".

Главное издание итальянской социалистической партии было посвящено Джакомо Маттеотти. Его гордый профиль красовался около названия газеты, как сегодня в нашей "Литературной газете" красуются Пушкин и Горький.

В 1924 году социалист Маттеотти, лидер партии, был похищен и убит фашистами. Кроме Турати его сподвижником был Модильяни, родной брат великого художника. В одной рукопашной драке в парламенте фашисты вырвали у него ключья бороды. Он гордился этим и никогда не брил свое лицо — чем пугал встречных. Семья Черновых, в которую я уже вошел в качестве жениха самой младшей дочери, очень дружила с итальянскими социалистами. На берегу Средиземного моря, в Аляссио, сохранилась по сей день трехэтажная "Вилла Ариадна", названная так в честь моей покойной жены Ариадны Викторовны Черновой. В этой вилле бывали, как это ни парадоксально звучит сегодня — в вилле Виктора Чернова, — и Максим Горький, и Бенито Муссолини, когда последний еще был социалистом, т. е. до первой мировой войны.

Как-то во время работы во Франко-Славянской типографии я подсел к Модильяни, когда тот корректировал очередной номер своей газеты, и в момент перекура стал изливать свой восторг перед творчеством его

младшего брата. Он слушал молча и хмуро.

И тут произошло нечто неслыханное, нечто совсем несуразное!.. Модильяни вдруг взорвался и с искаженным от гнева лицом, при этом еще разукрашенным ключьями седеющей бороды, заорал на меня:

— Замолчите! Вы порете чепуху, молодой человек! А вместе с вами порят такую же чепуху и многие другие, помешавшиеся на Моде, самой пошлой даме в мире. Италия имела художников — сейчас у нее их нет, все вымерли. У нас были такие, как да Винчи, Микеланджело, Рафаэль. Но мой брат — втемяшьте это в свою голову, недоросль! — не художник, а сапожник, хотя я не хочу оскорблять эту благородную профессию. Он не умеет ни рисовать, ни писать. Он ни хрена не смыслит ни в линии, ни в краске. Пишет каких-то несусветных уродов из театра ужасов — "гран гиньоль", — большей частью уродов женского пола. Особенно противны эти его склизкие пресмыкающиеся "ню", от которых хочется бежать на край света. Заметьте: я люблю Амадео, люблю его как брата — я ему помогал, этому тунеядцу, чем мог, мы все ему помогали, он всегда жил на наши средства. Я не отрицаю, что он был необыкновенно красив, что был добрым, у него было много хороших качеств, но нечего Бога гневить — у него ни на грош не было таланта. В нашей семье это был один-единственный неудачник! Нелепый, никчемный бродяга — да еще при этом... с бзиком! Зарубите себе на носу, сударь, — это был позор всей нашей семьи!

ФРАНКО-СЛАВЯНСКАЯ ТИПОГРАФИЯ

Владимир Иванович Лебедев, в свое время на Волге передавший в руки чехов царское золото, однажды из Праги вернулся в Париж, весь сияющий, довольный, веселый. Мы сразу догадались: наверное, отхватил у Масарика немалый куш из запасов бывшего царского золота. Он собрал всех нас у себя за столом, пышно сервированным, и сообщил нам сенсационную новость: печатание ежемесячника "Воля России" переносится в Париж! Это не было такой уж сенсацией, слухи об этом ползли по Парижу уже давно — мы ведь сразу догадались, для чего он нас сзывает к себе.

Хотя и редакция и типография будут находиться в Париже, но на обложке (светло-синей) журнала по-прежнему будет стоять "Прага". Таково желание Масарика. Уважим старика.

"Воля России" сначала была газетой, потом, когда денег и читателей стало меньше, превратилась в еженедельник и, наконец, в ежемесячник. Я попал в нее случайно: там впервые напечатали мою крупную вещь — мою первую повесть "Ita vita", и Владимир Иванович очень носился с нею и со мною. Читал ее вслух в великосветских домах, наконец, устроил в большом зале Славянского института литературный вечер, открыл его с характеристики "моего творчества" (без году неделя), и я там прочел отрывки из этой повести. Завершилась эта возня со мною тем, что редакция "Воли России" пригласила меня в качестве секретаря и организатора Франко-Славянской типографии.

Удивительная фигура этот Владимир Лебедев в истории революционного движения в России с 1910 до 1930 года. Очень живописная во Франции в начале первой мировой войны, правого толка. Будучи во Франции в начале первой мировой войны, поступил добровольцем во французскую армию, где дослужился до лейтенанта и был награжден Военным Крестом. Вместе с ним был еще один эсер — Леонид Россель, будущий директор Франко-Славянской типографии — Imprimerie Franco-Slave, rue Ménilmontant, — той самой улицы Менильмонтан, которая была прославлена в Париже своими апашами, как и Итальянская площадь (place d'Italia). Менильмонтан увековечена также в истории музыки — в песнях великого французского шансонье Мориса Шевалье.

Вот почему, когда Лебедеву — еще до окончания первой мировой войны — после нескольких ранений удалось вырваться из французской армии и вернуться на родину в дни февральской революции, его тотчас же, как военного эксперта, А. Ф. Керенский назначил управляющим своего министерства. В. М. Чернов прозвал его "земский гусар" (потому что он имел еще какое-то отношение к Земгору), и это имя навсегда было закреплено за ним.

Когда я был в Болгарии, он там был главным советником Стамболийского, после убийства которого бежал в Чехословакию. Хорошо помню, когда к власти пришел царь Борис (вот откуда название Борисовой градины, где мы с Даниилом Резниковым строили болгарские Лужники). По всем улицам Софии были расклеены афиши с большой фотографией, на которой были изображены в купальных костюмах в окружении дам — для болгар той эпохи это считалось развратом, чем-то безнравственным — Стамболийский и его злой гений, иностранный консультант Лебедев. Он дал директивы крестьянскому вождю отобрать у законных спокон веков

помещиков все земли и отдать их безродным мужикам.

Но час пик в бурной жизни Лебедева был значительно хуже его предыдущих художеств — таких, как передача царского золота чехам или более благородные консультации Стамболийскому.

Вот что произошло в его час пик.

Монархист, да еще заядлый, В. В. Шульгин только что совершил подвиг: нелегально пробрался в Советский Союз и прожил там несколько месяцев. Вернулся в Париж вполне благополучно — только он не знал, что за каждым его шагом следили чекисты и что отпустили его на Запад, чтоб он рассказал правду, а правды тогда, в начале 30-х годов, Советский Союз не боялся. И действительно, в живо написанных путевых очерках Шульгин в гукасовской еженедельной газете "Возрождение" рассказал обо всем, что видел и слышал на родине. А из "Возрождения" эти очерки перекочевали во все газеты мира. Так сказать, получилась бесплатная пропаганда в пользу СССР: Шульгин и вправду писал правду.

Лебедева эти очерки очень взволновали: что получается? Монархисты не побоялись туда поехать, а эсеры, которых так любят крестьяне, трусят? Этого быть не может. Ни с кем из друзей своих и партийных товарищей не посоветовавшись, на свой страх и риск он решил переоголеть Шульгина.

Но он забыл, что в эмиграции в то время жил Вл. Бурцев, великий разоблачитель Евно Азефа и прочих провокаторов и лжесвидетелей. Когда в "Воле России" было преподнесено сенсационное путешествие Лебедева, где он описывал русские березы, клейкие листочки, цветочки, грибы и свои встречи с несуществующими в СССР людьми в незнакомых и не виденных им городах 30-х годов, Бурцев, по каким-то там ему одному известным каналам, получил такие интересные данные о подвиге Лебедева, что получилась сенсация уже совсем другого порядка. Буржуазные газеты еще не успели перевести его очерки из "Воли России", так что сенсация была не в мировых масштабах, а просто буря в стакане воды — только в Зарубежной России!

Оказывается, Лебедев ни в какой Советской России не был, а все три месяца провел в финляндских лесах в пограничной полосе СССР: там были и цветочки, и грибы, и русские березы!

Провал Лебедева был полным — очерки его в "Воле России" перестали печататься. Товарищеский суд над ним покарал его. Так кончилась карьера нашего "земгусара".

Но типография на его деньги была создана. Мы купили два линотипа, одну большую печатную машину и несколько маленьких и большое количество шрифтов, как ручных, так и линотипных, чтобы исполнять работы на двух языках — на русском и французском. Лучше было бы назвать типографию Франко-Русской, но такая уже была со времен Тургенева, как и Тургеневская библиотека. Кроме того, во Франко-Славянской выполнялись еще заказы для болгар и сербов.

Кстати, о болгарях. С ними был неразлучен Лебедев, и в его доме, да и в типографии я часто встречал таких соратников Стамболийского, как Коста Тодоров и Христо Оббов, эмигрировавших во Францию после переворота.

Таким образом, мы обслуживали главным образом эмигрантов: русских, болгарских и итальянских.

Но не думали мы, что когда-нибудь будем обслуживать эмигрантов... советских.

Да, мы первые издали запрещенный в Союзе роман Евгения Замятина "Мы", ставший родоначальником Самиздата или, точнее, Тамиздата. Да, мы регулярно издавали еженедельник Л. Троцкого "Бюллетень оппозиции", который редактировал и корректировал его сын Седов.

И по сей день в этой самой типографии на рю Менильмонтан издается еженедельная антисоветская газета "Русская мысль" под редакцией княгини Зинаиды Шаховской.

Такой с годами получился у Франко-Славянской типографии профиль. И она, эта типография, хотя и гордо, но бесславно просуществовала свое первое полустолетие и ныне вступает во второе.

Седов был очень молчаливый, сдержанный и редко улыбающийся молодой человек. На отца совсем не был похож, белокурый, кудрявый, скуластый, ну, прямо рязанский парень — весь в мать, чью фамилию он носил для конспирации: мать его была русской.

Хорошо был сколочен, широкоплеч, чуть выше среднего роста. Был он, несомненно, волевым и мужественным. В этом я убедился однажды, когда мой сосед, французский полицейский, разбушевался, в пьяном виде избивая — регулярно по субботам — свою жену и детей. Этот шум мешал и ему и мне: мне читать корректуру "Воли России", ему — "Бюллетень оппозиции".

— Скажите, — обратился я к нему, — не можете ли вы мне навести у соседа порядок? Я все откладываю...

— Охотно.

Мы без стука вошли в его квартиру как раз в момент, когда он беспощадно избивал жену, за которую цеплялись орущие дети — мальчик и девочка.

Седов молча подошел к истязателю, оторвал его от жертвы за шиворот и нанес ему такой сильный удар в подбородок, что он рухнул на землю, как кукла в золотых пуговицах.

Моей помощи не понадобилось.

Седов наклонился над противником как доктор, проверил его пульс и глаза. Потом обратился ко мне.

— Не скоро встанет... Мадам, — обратился он к жене, — "скорую помощь" можете не вызывать. Уложите его в постель — придет в себя, отоспится.

Не могу покинуть Франко-Славянскую типографию, не поделившись с вами еще одним эпизодом из ее жизни.

Была такая газета в те годы — "Парижский вестник". Тогда в центре русской эмиграции издавались четыре русские ежедневные газеты: "Последние новости" П. Н. Милюкова, "Дни" А. Ф. Керенского, "Возрождение" нефтяника Гукасова и вот этот самый "Парижский вестник". Многовато как будто для русского, что и показала жизнь — не хватило для них читателей. Сначала сгинул "Вестник", потом "Дни", а вот "Новости" и "Возрождение" просуществовали 20 лет, до занятия немцами Парижа.

"Парижский вестник" издавал и редактировал некий Филиппов, пройдоха, газетный рвач. Помогал ему в корректуре и редактировании А. Куприн, необыкновенного обаяния человек и писатель. Увы! За два года, что он ходил в нашу типографию, его не видели трезвым!

Меня сейчас спрашивают в Москве: расскажите о своих встречах с Куприным. И я всякий раз в таких случаях чувствую себя неловко не только за себя, но и за русскую литературу. Что рассказать? Я любил его как писателя и как человека. Но вот я могу рассказать об А. М. Ремизове, о М. И. Цветаевой, о Н. Бердяеве, о Л. Шестове, о Е. Замятине, наконец, но я ничего не могу сказать о Куприне, кроме этих нескольких жалких слов:

— Володя! Как у тебя сегодня? (Он звал меня, как все, "Володя" и говорил мне "ты", я отвечал ему на "вы" и, конечно, обращался к нему либо Александр Иванович, либо "маститый писатель", либо "писатель земли русской", либо "именитый автор "Ямы", я бы конечно, к нему, к трезвому, так не обращался бы, как эти три последних обращения.) Володя, пятерка найдется?

Дрожащей рукой брал монету и старчески-мелкими шажками, шаркая подошвами стоптанных башмаков,

недавний кумир клоунов, борцов и наших первых авиаторов бежал в соседнее бистро.

Общеизвестна фраза Эльзы Триоле о том, что имеется необыкновенное сходство между водителями такси... Парижа и Москвы! И те и другие говорят по-русски. Хорошо она кончает этот свой репортаж:

"Я хотела бы жить и умереть в Москве, Если б не было такой страны, как Париж!"

Как же это случилось, что за рулем таксомоторов красно-черных "рено" 20-х годов в Париже оказалось столько русских? Очень просто. Тогдашний префект департамента Сены был "маленький корсиканец" Кьяпп! Он был влюблен в Белую армию и белую идею. Он ненавидел Москву за Брест-Литовск. Он снял с машин, несмотря на протесты шоферского профсоюза, французов и посадил за руль генералов, полковников и капитанов армии барона Врангеля.

Так вот, все эти таксисты хорошо знали и в жизни, и на экране Кису Куприну и ничего не слыхали об ее отце, большом русском писателе: сподвижники барона художественной литературы не читали. Ну не удивительное ли это дело? Но это факт! Спросите Кису Куприну, она сейчас в Москве, артистка Театра им. Пушкина.

Сколько людей делало ежедневную газету "Парижский вестник"? Давайте посчитаем. Два линотиписта. Один ручной наборщик, "метранпаж". Один корректор (А. Куприн). Один печатник. Один брошюровщик — он же удовлетворял постоянных подписчиков. Вот уже шесть человек. Редактор (Филиппов) больше всего работал ножницами. Переводчик из французских газет последних новостей. Агент по сбору объявлений. Девять. Авторы? Авторов было много. Воскресный номер с вкладным листом — всего шесть страниц — украшали такие имена: Константин Бальмонт, Зинаида Гиппиус, В. Ходасевич, Георгий Иванов, Ирина Одоевцева, Игорь Северянин — это поэзия. Проза: Алексей Ремизов, Ив. Бунин, Иван Лукаш, Дм. Мережковский, А. Куприн, Тэффи, Ив. Наживин, Гусев-Оренбургский, Брешко-Брешковский, Краснов, Бебутова. Фельетоны, стихотворные и прозаические: Агнивцев, Саша Черный, Борис Ведов, В. Горянский, П. Потемкин. Какой букет!

И действительно: газета была живой, интересной, разнообразной.

Всего девять человек делало ежедневно в середине 20-х годов "Парижский вестник"!

И со свистом растут исполинские травы.
Водопадом ужасным катится роса,
И кузнечик грохочет, как поезд...
Б. Поплавский

Это была одна из любимых спортивных игр с Борисом — я говорю о Борисе Поплавском. Иногда за такую игру мы попадали с ним в полицейский участок. Но обычно выручал студенческий билет Сорбонны. К таким юношам полицейские, "ажаны", были снисходительны — ведь это не просто хулиганы, а будущее Франции!

А игра вот в чем заключалась.

Мимо по Елисейским полям мчится автобус. Надо было изловчиться так, чтоб, лавируя между рядом идущими легковыми машинами, догнать автобус и вскочить на заднюю площадку.

Помню такой забавный случай.

От Этуаль к Конкорду бросились мы с Поплавским догонять автобус. Поплавский бежит лучше меня, и, перегнав, он вскочил в него. (Эти строки я переписываю из моего парижского дневника, есть и день: 21 января 1925 года.) Я упорно следовал за автобусом, а он отдалялся от меня все дальше и дальше. Вдруг мчавшийся мимо меня таксист, затормозив, любезно предложил мне вскочить на подножку автомобиля (тогда еще существовали такие подножки, теперь не вскочишь!). Мы помчались быстро за автобусом, и он приближался к нам все ближе и ближе. Я походил на сыщика, преследующего свору бандитов. У Гран Палэ автобус проскочил, а наш автомобиль был задержан рукою полицейского. Я соскочил на ходу и, еле удержав равновесие, лавируя между автомобилями, помчался дальше за автобусом, зная, что у Бориса нет денег на билет. Это была дикая гонка! Автобус опять стал отдаляться от меня. А рядом со мной вдруг появилась фигура, мерно перегонявшая меня. Я рассердился и нажал. Не выйдет! Мы снова сравнялись. Потом он стал снова перегонять меня. Я посмотрел внимательно на моего противника... Борис!

— Что же это вы, Сосинский, чтобы вскочить на автобус, занимаете такси?

...Борис был прекрасным спортсменом, целиком отдавался разным видам спорта. Александр Гингер думал о нем, когда писал свою знаменитую в эмиграции "Эстафету":

На местах, законно неизменных,
на песках дорожки круговой
бегуны команд четверочленных
думают о славе групповой.
И когда по звуку пистолета
выпущена первая стрела —
в кулаке зажата эстафета,
плотный камень, дружные дела.
Впереди же, руку приготова,
поджидает в полуобороте
переемщик, полный свежей крови,
взгляд назад, а тело наперед.
У того, который в беге ныне,
гром в висках; в мулящемся мозгу
мысль одна, оазисом в пустыне:
я дойду, сойти я не могу!

Поплавский носил темные очки — и в солнечные и в сумрачные дни. Почему? Он не боялся солнца. Зрение у него было отличное. И темных очков ему было мало, он еще натягивал на глаза большую кепку, не берет, как мы все, а именно кепку с огромным козырьком.

Нет, это не из-за солнца, не по какой-нибудь другой причине — это потому, что Борис до жути боялся смотреть в глаза другим, вернее, боялся, что кто-нибудь посмотрит ему в глаза. Он ничего не боялся — ни драк, ни смерти, — он боялся только этого. Не знаю кто — даже девушки в постели — видел его без очков.

Читал он стихи глуховатым, пастернаковским голосом без выражения, выделяя только музыку, ритм, метрику стиха и аллитерации в нем. То, что простонародье в поэзии называет "с завыванием".

Вспомните, что об этом говорит Алексей Михайлович Ремизов:

"Блок читал свои стихи. А читал он изумительно: только он один и передавал свою музыку. И когда на вечерах брались актеры, было неловко слушать. Ритм — душа музыки, и в этом стих. Стихи не для того, чтобы понимать, их и не надо понимать, стихи слушают сердцем как музыку, а актеру — профессиональным чтецам — не ритм, выражение все, а выражение ведь это для понимания, чтобы, слушая стих, лишенные "уха", мух по-собачьи не ловили. Про себя Блока буду читать — стихи Блока, — а с эстрады больше не зазвучат — не услышишь, если, конечно, не вдолбят актеру, что стих есть стих, а не разговоры, а безухий есть глухой".

Когда я прочел строки К. И. Чуковскому, он мне рассказал, солидаризируясь с мнением Ремизова, про вечер Качалова, посвященный Блоку. По окончании вечера великий актер подошел к Чуковскому: "Можно иметь

выразительное лицо, дорогой Корней Иванович, но зачем же тогда садиться в первый ряд?"

Если Маяковский начинал футуристом, Есенин — имажинистом, а Хлебников — это заумь, то, конечно, Борис Поплавский — единственный русский сюрреалист в поэзии, как единственным русским дадаистом в живописи и в том же Париже, когда гремел среди дадаистов Сальвадор Дали, был наш общий друг Сергей Шаршун — человек редчайшей счастливой судьбы: через 60 лет нищей божьей жизни еще при жизни Шаршун добился мировой славы. В музее Поплавского скрестились Блок и такие французы, как Рембо, Аполлинер и Малларме, но в Поплавском нет ничего от французских сюрреалистов, таких, как Арагон или Элюар.

В городе стали Питсбурге в 1972 году вышел сборник статей на русском языке: "Русская литература в эмиграции". Вот что там сказано о Поплавском:

"Борис Поплавский (1903 — 1935) многих изумил и восхитил апокалиптическими видениями гибнущей Европы и фантастическим изображением огромного обреченного Вавилона: это шумный Париж злых лакеев, прекрасных дам, грозных закатов и нездешней музыки, которую слышит грязный ангел. Казалось: вот явился русский Рембо, талантливейший "проклятый поэт", ошеломляющий богатым воображением и безумными мечтаниями. Скупой на похвалы Георгий Иванов написал о нем восторженную статью в журнале "Числа".

Страшно в бездне. Снег идет над миром.
От нездешней боли все молчит.
Быстро, тайно к мирозданию Лир
Солнце зимнее спешит.
Тишина сошла на снежный город,
Фонари горят едва заметно.
Где-то долгий паровозный голос
Над пустыней мчится безответно.
Скрыться в снег. Спасть от грубых взглядов.
Жизнь во мраке скоротать в углу.
Отдохнуть от ледяного ада
Страшных глаз, прикованных ко злу.
Там за домом городской заставы,
Где сады на кладбище похожи,
Улицы полны больных, усталых,
Раздетых к празднику прохожих.
Снег идет. Закрыться одеялом,
Рано лампу тусклую зажечь,
Что-нибудь перечитать устало,
Что-нибудь во тьме поест и лечь.
Спать. Уснуть. Как страшно одиноким.
Я не в силах. Отхожу во сны.
Оставляю этот мир жестоким,
Ярким, жадным, грубым — остальным.

Мы уж здесь наплачемся, устанем,
Отойдем ко сну, а там во сне,
Может быть, иное солнце встанет,
Может быть, иного солнца нет.
Друг, несемте лампы в подземелье,
Перед сном внизу поговорим.
Там над нами страшное веселье,
Мертвые огни, войска и Рим.
Мы ж, как хлеб над мерзлой землею,
В полусне печали подождем
Ласточку, что черною стрелою
Пролетит под проливным дождем.

Поплавский стал легендарным героем русского Монпарнаса. Одних его крайности привлекали, других отталкивали. О нем говорили: Поплавский — атлет с могучими бицепсами, посетитель спортивных состязаний, но и наркоман с подозрительными знакомствами в уголовном мире. Или: он хулиган, публично оскорбивший знаменитого актера, но и мистик, читающий творения Святой Терезы и Якова Бема... "Тихо голос Мореллы замолк на другом берегу, как серебряный сокол луна улетела на север, спало мертвое время в открытом железном гробу, тихо бабочки снега садились вокруг на деревья". Были у Поплавского какие-то фантастические фатальные видения, и его нескладные стихи напоминают медиумическую запись романтического визионера. Его дневники очень ценил Бердяев, а вскоре после его гибели Мережковский заявил на публичном собрании: если эмигрантская литература дала одного Поплавского, то этого с лихвой достаточно для ее оправдания на всяких будущих судах.

Очищается счастье от всякой надежды.
Черепичными крыльями машет наш дом
И по-птичьему ходит. Удивляйтесь невежды,
Приходите к нам в гости, когда мы уйдем.
На высоком балконе — над прошлым и будущим —
Мы сидим без жилетов и молча жуем.
Возникает меж звезд пассажирское чудище,
Подлетает. И мы улетаем вдвоем.
Воздух свистнул. Молчит безвоздушный притон.
Вот Земля провалилась в чернильную лузу.
Застегните, механик, воздушную блузу!
Вот Венера. И мы покидаем вагон.
Бестолков этот мир четырех величин.
Мы идем. Мы ползем. Мы взлетаем. Мы дремлем.
Мы встречаем скучающих дам и мужчин.
Мы живем и хотим возвратиться на Землю.
Но таинственный мир, как вода из-под крана,
Нас толкает и — ин! — исчезает сквозь пальцы.
Я бросаюсь к тебе. Но шикарное зальце
Освещается — и перед белым экраном,
Перед синей водою, где круглые рыбы
Перед воздухом — вертится воздух, как шар, —

И над ними, как синих айсбергов глыбы,
Ходят души, там будет и ваша душа.
Опускаются с неба большие леса,
И со свистом растут исполинские травы.
Водопадом ужасным катится роса,
И кузнечик грохочет, как поезд. Вы правы.
Нам пора. Мы вздыхаем, мы машем
И кружимся как стрелка, как белка в часах,
Мы идем в ресторан, где стоит на часах
Злой лакей, недовольный одеждою нашей.
И, как светлую и прекрасную розу,
Мы закуриваем папиросу.

"... Поэзия должна быть личным, домашним делом; только тот, кто у себя дома в старом, рваном пиджаке принимает вечность и с ней имеет какие-то мелкие и жалостно-короткие дела, хорошо о ней пишет. И бесконечно правы те поэты, которые, как Гингер, откровенно признаются, что какие-то мистические, радостные мгновения переживали перед лицом разных милых земных вещей: собак, лошадей, трубок, игральных карт, бритья, биллиарда, спанья. Или подобные Кнуту, которые признаются, что Бог с ними говорил, когда "нога с ногой боролась". Одни поэты должны были бы писать только об онанизме, другие только о биллиарде или вялой праздности и т. п. Все эти стихи перестали бы быть красивыми для того, чтобы сделаться искренне трогательными, ибо человек, когда он до нас доходит в своих отношениях с абсолютным и в глубоком горе от долгого отсутствия этих отношений, всегда искренне трогателен. А все трогательное нужно, все оно разбивает лед нашего внутреннего сна. Только трогательное мы любим, и только то, что мы любим, мы постигаем. А поэзия есть способ сделаться насильно милым и сделать насильно милым Бога"*.

Нас в Париже было множество. Вокруг альманаха "Стихотворение" под редакцией Бориса Борисовича Божнева и ежесюжника "Воля России", где редактором по поэзии и прозе был Марк Львович Слоним, бушевали Вадим Андреев, Александр Гингер, Анна Присманова, Борис Поплавский, Владимир Познер... Был среди нас самый молодой С. Шарнипольский. Он любил нас всех, и мы у него пользовались сокрушительным авторитетом.

Ах, какая жестокая судьба!

Из США уже плыла к нему его семья: родители, сестра, братья, которых он не видел много лет. Это был день моей свадьбы. Он был моим шафером, — страшный день!

Не хватило за новобрачным столом вина;

Шарнипольский вызвался привезти и на велосипеде помчался в город. Попал под тяжелый грузовик и погиб за два дня до прибытия в Париж его любимой семьи, по которой так скучал.

Еще более трагической была безвременная смерть Поплавского. Но прежде, чем перейти к ней, еще несколько слов о нем. Он был одним из лучших знатоков старого Парижа. На нем сделал себе карьеру один дотошный писатель. Я говорю о Якове Цвибаке, чьи книги о Париже выходили не только по-русски, но и по-английски, испански и даже по-французски. А Цвибак просто знал стенографию, ходил с нами, когда мы гуляли по Парижу, и записывал все, что рассказывал Поплавский.

А рассказывал он изумительно.

Мы подходили к какому-нибудь дому, дому, где жил Виктор Гюго или где жила мадам Рекамье и бывали сотни великих людей, — перед нами разворачивалась вся многовековая история Франции. Где это было возможно, мы проникали во внутренние покои домов. Иногда на лестнице или в подворотне он восстанавливал сцену убийства, совершенного много столетий тому назад.

А Яков Цвибак все записывал. Теперь он больше не Цвибак, а Седых, Андрей Седых, главный редактор нью-йоркского "Нового русского слова".

Слухи о том, что Поплавский был наркоманом и погиб от этого недуга, как писали французские и русские газеты, — совершенно не верны. Это подтвердят все, кто его близко знал.

Да, я забыл сказать, что он был не только незаурядным историком, большим поэтом и замечательным прозаиком (роман "Аполлон Безобразов"), но и талантливым искусствоведем: его статьи в альманахе "Числа" о Марке Шагале, Сутине, Терешковиче, Минчине, Фужита, Юрии Анненкове, Ларионове, Гончаровой навсегда остались в истории мирового искусствоведения.

Мы все часто в Париже эпохи Поплавского повторяли его строку "Приходите к нам в гости, когда мы уйдем". И не только тогда — сегодня на Ленинском проспекте, провожая дорогих гостей, улыбаясь, чуть нараспев произношу эту строку. И друзьям своим не раз рассказывал об одном объявлении, которое было Борисом напечатано в газетах и имело живой отклик:

"Хожу на дом обедать.

Расстоянием не стесняюсь".

Еще одна наша ночная прогулка вдруг вспомнилась

* Б. Поплавский, Из дневников (1928 — 1935), Париж, 1938.

мне. Правда, мы оба были после попойки и, возвращаясь домой, петляли ногами. Как мы не упали в Сену, идучи по парапету моста Генриха IV, ума не приложу — и надо же было до такого додуматься в пьяном виде.

Но все-таки мы попали в эту ночь в полицейский участок. И на этот раз студенческие билеты не помогли.

На полуосвещенной площади, которой заканчивается мост, стояла парочка влюбленных и целовалась, забыв все на свете.

Обеспокоенный, что любая машина может в них вреяться в полутьме, я взял огромный красный фонарь, который стоял на куче камней от мостовой, перенес его к тому месту, где стояли влюбленные, и поставил фонарь перед ними.

Вдруг грубый окрик испугал их и нас — перед нами стоял верзила полицейский со страшными усами Буденного. И меня и Бориса отвели в участок.

Поначалу они там смеялись нашему рассказу, как мы уберегли жизнь влюбленных. Но у меня в заднем кармане при обыске обнаружили браунинг "Триумф" и карандашный набросок Ленина. На самом деле это не был Ленин, а наш профессор филологического факультета Сорбонны Кульман, очень похожий на Ленина. Но полицейские мне не поверили.

В общем, дело вышло боком.

Избили меня основательно. Бориса отпустили, а я в участке — в одиночке — заночевал.

Эрнест Лафон, социалист, будущий министр здравоохранения в министерстве Народного фронта, поднял вопрос в палате депутатов об избиении сорбоннца в полицейском участке только за то, что в его кармане был обнаружен портрет Ленина. Само собой разумеется, что Лафон был другом нашей семьи, т. е. семьи Черновых, и был женат на русской, родственнице моей тещи.

Не могу отказать себе в удовольствии рассказать не анекдот, а факт из жизни Лафона, когда он был министром здравоохранения.

Будучи невзрачным, нескладным, рассеянным, неряшливым, он как-то при осмотре богоугодных заведений растерял своих секретарей. Случилось это в Шарантоне (в Лондоне — это Бедлам, в Москве — Канатчикова дача). Он постучался в дверь и сообщил встретившим его докторам, что как министр хотел бы осмотреть лечебное заведение. Те ему не поверили и, так как он стал вести себя буйно, заперли в одиночную палату, где он пробыл не менее суток.

Но я слишком далеко отошел от Бориса Поплавского, а уже давненько обещал рассказать о его трагической гибели. Повторяю: он не был наркоманом и прикоснулся впервые к опиуму в день своей смерти.

Они были вдвоем, два поэта — Поплавский и Дряхлов. Вот Дряхлов был заядлый наркоман, он нюхал опиум в течение долгих лет.

Когда были найдены наутро в комнате Поплавского два трупа, то была обнаружена на столе записка, написанная рукою Дряхлова:

"Простите друзья. Я знаю, что это грешно. Но мне скучно одному уйти т у д а. Беру с собой Бориса. Он об этом не знает".

ЧЕРНАЯ МАДОННА

Вадиму Андрееву

И тогда проедет безучастно,
Разопрет и празднику не рада,
Кавалерия в мундирах красных,
Артиллерия назад с парада.

И к пыли, к одеколону, к поту,
К шуму вольтовой дуги над головой
Присоединится запах рвоты.
Фейерверка дым пороховой.

И услышит вдруг юнец надменный
С необъятным клешем на штанах
Счастья краткий выстрел, лет мгновенный,
Лета красный месяц на волнах.

Вдруг возникнет на устах тромбона
Визг шаров крутящихся во мгле.
Дико вскрикнет черная Мадонна,
Руки разметав в смертельном сне.

И сквозь жар ночной, священный, адный,
Сквозь лиловый дым, где пел кларнет,
Запорхает белый беспощадный
Снег, идущий миллионы лет.

Через весь Латинский квартал, по рю дез Эколь, мимо Сорбонны, по нашей родной с Вадимом Андреевым последней холостяцкой рю Сэн-Жак, под асфальтом которой, на глубине двух метров (о чем нам однажды поведал Борис Поплавский) проходит римская мостовая в Лютецию (старинное название Парижа) — в сторону набережной Сены, где ночью спит на закрытых прилавках так много волшебных книг на всех языках; через рынок цветов шли мы прямо к Собору Парижской богоматери,

откуда сверху, жутко свесившись на нас, таинственно — через века — глядели химеры, черти, чертята, полужвери, полуптицы, полулюди и полуангелы... Оттуда же глядел на нас Квазимодо, усталый от буйства с колоколами, и мы, на страх запоздалым прохожим, громко и нараспев читали: "Дико вскрикнет черная Мадонна, руки разметав в смертельном сне".

Кто входил в ту четверочленную команду парижских поэтов, думавших о славе групповой, о которой в "Эстафете" говорит А. Гингер? На расстоянии лет это особенно бесспорно: чтобы хорошо рассмотреть прекрасную картину, надо дальше отойти от нее. Кто донес факел или эстафету до следующего поколения и кто занял почетное место в истории русской поэзии?

"Конкорд и Елисейские поля, а в памяти Садовая и Невский, над Блоком петербургская земля, над всеми странами Толстой и Достоевский... Душой присутствуя и там и здесь, российский эмигрант умрет не весь, на родине его любить потомок будет, и Запад своего "метека" не забудет".

Так кто же эта команда, которую на родине "любить потомок будет", а Запад не может ее забыть? В данном случае мы говорим только о поэзии. И на родине это уже сегодня сбывается:

Вадим Андреев

Борис Поплавский

Борис Божнев

и Александр Гингер.

Думаю, что я не ошибусь, если скажу, что русская поэзия до появления в Париже Александра Гингера не знала такого оригинального, своеобразного, "с приветом" поэта.

Будучи замечательным знатоком русского языка, особенно древнерусского, т. е. церковнославянского, и из всех писателей наиболее любивший протопопа Аввакума, Николая Семеновича Лескова из села Горохова Орловского уезда и Алексея Михайловича Ремизова, — Гингер зачастую писал стихи так небрежно, нарушая все правила грамматики, которую обожал, так чисто по-хулигански вкрапывал нарочитую безграмотность, которую в других презирал, что я, прочтя его новое стихотворение, взрывался: "Каким же надо быть Эллиотом, чтоб писать такие стихи! Побойся Бога, Саша!"

Глеб Струве называл Гингера "юродствующим" и гневно говорил Саше:

— Железный колпак! Вот тебе копеечка. Но ради Господа Бога, замолчи!

В этом смысле — только в этом — Гингер приближался к Председателю Земного Шара Велимиру Хлебникову.

Это — форма Гингера (хотя я и не люблю произведение делить на эти две ипостаси единого явления), и далеко не всегда она бывает такой.

Содержание, т. е. сюжет и лирический герой Гингера, целиком было посвящено малым, несчастным, трусливым, ничтожным людишкам, которых воспевать не след, особенно в Советском Союзе.

Гингер вечно кого-то пародировал по-козьмапрутковски, над кем-то или над чем-то издевался, захлебывался мармеладовой слюною, плакал, уличал, грозил и шипел на весь мир, все же отдавая ему должное: "этот глупый, но приятный свет". Тут невольно вспомнишь гениальное мандельштамовское:

Я от жизни смертельно устал,
Ничего от нее не приемлю,
Но люблю мою бедную землю
Оттого, что иной не видал.

Прислушайтесь к этому горькому плачу Гингера на реках вавилонских — в изгнании:

Никогда я не буду героем
ни в гражданской войне, ни в другой,
но зато малодушья не скрою
перед Богом и перед собой.
О, бездонная горькая честность —
одинокая смелость моя!
Соблазнительная неуместность
нарциссического бытия.
Я люблю на меня непохожих:
пехотинца, месящего грязь,
и лубочного всадника тоже,
под шрапнелью держащего связь.
Но геройству не счесть категорий;
сколько крови, и гноя, и слез,
горя женщин и детского горя,
седины... этот пепел волос!
Не солдат, кто других убивает,
но солдат, кто другими убит.
Только жертвенность путь очищает
и душе о душе говорит...

Тот же город стали Питсбург в 1972 году, т. е. семь лет спустя после смерти Гингера, так вспоминает о нем:

"... Александр Гингер был чудак и в жизни, и в поэзии. Его поэтика строго выверенная, отчетливая. Слагаемые его лирического мирка тоже как будто друг друга исключают: мотивы патетические и комические, как в этом замечательном его стихотворении "Жалоба и торжество": "Я вас прошу настойчиво и прямо: не

приходите на мою траву. Интересуемся другими зря мы, тревожа их во сне и наяву..." Присманову и Гингера в Париже недостаточно ценили: их еще откроют и ими будут очарованы".

Это была самая уморительная супружеская пара, что мне до сих пор доводилось встречать. Их удивительно точно в Нью-Йорке в 1960 году изображал Николай Рейзини (зарубежный Иракий Андроников), прославившийся в Париже своим искусством имитировать окружающих его людей; продавец оружия и страстный биржевой игрок; сегодня миллионер, завтра бродяга. Гражданин США, родился в Греции (и одно время был послом этой страны в каких-то латиноамериканских странах), а вообще, конечно, русский. Поплавский называл его "проходимцем", но не в дурном смысле этого слова: Рейзини никогда нигде не пребывает на месте, он всю свою жизнь проходит!

Помню такую домашнюю склоку в семье Гингеров. Приблизительно такие сцены и изображал Рейзини, — слушатели и зрители умирали от смеха. А у Гингеров было так.

Вхожу. Аня бросается ко мне стремительной ланью, она была тонка, как веточка, и на редкость некрасива:

— Вот, Володя, смотрите! Этих пятен на стене не было час тому назад. Вот что этот негодяй делал со мною, пользуясь своей мужской силой и выдуманной им спортивной зарядкой. В это место стены он стучал мою голову, как дыню! Чуть не убил. И сразу же тут же нагло требовал от меня ... как это по-русски? Ласки? Леопардом на меня накинута. Но тут, знаете, я заорала и уже как следует его отшлепала и исцарапала. Посмотрите на его рожу! Ишь, подлец, смеется. Это у него такая патология. Я на кухне в духовке пироги с капустой пеку, а он сзади тихо подкрадется... Жуть. Охальник с бзиком! А люди говорят, что хорошие стихи пишет.

— Хорошие стихи, Аня, в этом доме вы пишете. Вот что я недавно из вашего выучил наизусть: "Мария варит суп из топора и моет пол в лазоревом уборе. Весной она уходит со двора с высокими зарницами во взоре... Ее запущенная детвора сидит в худых штанишках на заборе". Юрий Иваск не врал, когда говорил, что у Присмановой удивительное сочетание сентиментальности и гротеска. Как у тебя, Саша, жалобы и торжества: "Я вас прошу настойчиво и прямо: не приходите на мою траву".

— Да-а,— задумчиво протянул Саша,— стихи, что процитировал, не мои, а Анины — лучшее, что дал молодой

Париж. Да, Аня — большой поэт. Только вот дура несусветная! И царапается, как кошка...

Еще одна поэтическая супружеская пара, но совсем в другом стиле, чем та, о которой я только что рассказал, — Ирина Кнорринг и Юрий Софиев, — не входит, да никогда и не входила в репертуар Николая Рейзини.

Ведущими литературного объединения "Кочевье" в 20-х и 30-х годах были Марк Слоним и я. Председателем Союза молодых поэтов был Юрий Софиев. Об этом Союзе острила Тэффи: "Кто это? Поздно ночью из подвала "Клюзери де Лиля" вылезают старые, небритые евреи. Кто это? Союз русских молодых поэтов".

Уже на закате своих дней в Алма-Ате Юрий Софиев вспоминал:

Памяти Ирины Кнорринг

Сквозь сеть дождя, туман и холод
Смотрю на призрачный Париж,
Как я любил, когда был молод,
Пейзаж неповторимый крыш.
И этот сад у стен Сената,
Где на заре парижских дней
Лишь нищей юностью богаты
Бродили мы среди аллей.
Здесь, в детском уголке вселенной,
Среди людских шумливых дел,
Всегда гоним струею пенной,
Бежал кораблик по воде.
Как часто мы за ним следили
И планы строили с тобой
О наших странствиях, что были
Упрямой общею мечтой.
А наш мальчишка белокурый
Здесь сделал первые шаги.
Но в нашей жизни ветер хмурый
Уж веял холодом могил.
Здесь, у старинного фонтана,
Шумели листья над тобой,
Но ты из жизни слишком рано
Была уведена судьбой.
Тебя хранит твоё искусство,
А память мне дарит во сне...
Любимой и покорно грустной
Всю жизнь ты будешь снится мне.

А Ирина Кнорринг — в год смерти в оккупированной Франции — в 1943 году писала:

Темнота. Не светят фонари.
Бьют часы железным боем где-то.
Час, еще далекий до зари,
Самый страшный час — перед рассветом.

В этот час от боли и тоски
Так мучительно всегда не спится.
Час, когда покорно старики
Умирают в городской больнице.
Час, когда, устав от смутных дел,
Город спит, как зверь настороженный,
А в тюрьме выводят на расстрел
Самых лучших и непримиренных.

В издательстве "Жазушы" в Алма-Ате в 1967 году вышел крохотный сборничек стихотворений размером 10 × 12,5 см тиражом в 6800 экземпляров. Это самый крупный тираж в жизни Ирины Николаевны: в Париже сборники "Стихи о себе", 1931, "Окна на север", 1939, и "После всего", 1949, — общий тираж всех трех изданий... 750 экз. В этом крохотном сборничке в 48 страничек я вдруг нашел мое любимое стихотворение:

Темна твоя дорога, странник.
Польную пахнет хлеб чужой.

Анна Ахматова

Я девочкой уехала оттуда,
Нас жадно взяли трюмы корабля.
И мы ушли — предатели, Иуды,
И прокляла нас темная земля.

Мы здесь все те же, свято чтим обряды,
Бал задаем шестого ноября.
Перед постом — блины, по праздникам —
парады,

За родину, за веру, за царя.

И, пьяные от слов и жадные без веры,
Мы потеряли счет тоскливых лет,
Где ни царя, ни родины, ни веры,
Ни даже смысла в этой жизни нет.

Еще звенят беспомощные речи,
Блестят под солнцем Африки штывы.
Как будто бы под марш походный легче
Рассеять боль непрощеной тоски.

Мы верим, ничего не замечая,
В свои мечты. И если я вернусь
Опять туда — не прежняя, чужая, —
И снова к темной двери постучусь.

О, сколько их, забитых, опаленных,
Мне бросят горький и жестокий взгляд, —
За много лет, бесцельно проведенных,
За жалкие беспомощные стоны.

За шепоты у маленькой иконы,
За тонкие блестящие погоны,
За яркие цветы на пестрых склонах,
За белые дороги, за Сфаят.

И больно вспоминая марш победный,
Я поклонюсь вчерашнему врагу,
И, если он мне бросит грошик медный,
Я этот грош до гроба сберегу.

Поплавский родился в 1903, Андреев — в 1902 году. Все парижские поэты, о которых я здесь говорю, их ровесники. Георгий Иванов не входит в их число — он старше их, он принадлежит к старшему поколению — родился в 1894, Цветаева родилась в 1892, Ахматова — в 1889, Ходасевич — в 1886 году. Но я хочу закончить свой обзор именем Георгия Иванова — он близок им всем — и Гингеру, и Кноррингу, и Софиеву.

А по сути, вот как обстоит дело: Георгий Иванов, как поэт родился значительно позже Андреева, Божнева, Гингера и Поплавского — нашей знаменитой команды четверочленных, чью эстафету я пытаюсь нынче передать советской молодежи. Иванов родился лишь в год своей смерти — в 1958 году, — это была лучшая пора его жизни как поэта. Он блестяще — под занавес — закончил русскую парижскую школу поэтов.

"Нет в России даже дорогих могил, может быть, и были, только я забыл. Нету Петербурга, Киева, Москвы, может быть, и были, да забыл, увы. Ни границ не знаю, ни морей, ни рек. Знаю: там остался русский человек. Русский он по сердцу, русский по уму. Если я с ним встречу, я его пойму. Сразу, с полуслова... И тогда начну различать в тумане и его страну".

"А люди? Ну на что мне люди? Идет мужик, ведет быка. Сидит торговка: ноги, груди, платочек, круглые бока. Природа? Вот она природа: то дождь и холод, то жара, тоска в любое время года, как дребезжанье комара. Конечно, есть и развлеченья: страх бедности, любви мученья, искусства сладкий леденец, самоубийство, наконец".

"Ты не расслышала, а я не повторил. Был Петербург, апрель, закатный час, сиянье, волны, каменные львы... И ветерок с Невы договорил за нас. Ты улыбалась. Ты не поняла, что будет с нами, что нас ждет. Черемуха в твоих руках цвела... Вот наша жизнь прошла, а это не пройдет".

А БЫЛ ЛИ ДРУГОЙ СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ?

Мягкой кошачьей походкой, совсем неслышно ступая как-то по-особенному — сначала на носок, потом на каблук, — в комнату входит высокий, стройный — без всякого признака сутуловатости, которая часто бывает у высоких людей, — очень красивый, с большими голубыми глазами человек, которому никак не дашь 30 лет — 25 максимум, и вкрадчивым голосом говорит:

— Можно? Ну как, голубчики мои ("голубчик

мой" — это у него осталось от Белой армии; Деникин всегда адресовался ко мне точно так же), какого Сергея Яковлевича вы хотели бы видеть сегодня: "того" или "этого", чтобы он был "тем" или "иным"?

— "Этим"! "Этим"! — кричим мы хором.

Происходит это в Париже в 1925 году на рю Руве, куда Сергей Яковлевич Эфрон, Марина Ивановна Цветаева и их дети прибыли из Праги по приглашению Ольги Елисеевны Колбасиной-Черновой. Из трех комнат Ольга Елисеевна в своей квартире отдала дорогим гостям лучшую и наиболее вместительную. (В Европе не принято, как в Советском Союзе, считать жилплощадь по метрам, там считают по комнатам, а в США кухня считается полукомнатой, и там нет коммунальных квартир.)

Как всем известно, Сергеев Яковлевичей было двое: "тот" и "этот". Я думаю сначала рассказать о "том" Сергее Яковлевиче. Это легче. Это как в советской литературе: вот уже 60 лет, как ни тщатся, никто не может создать положительного героя, а отрицательных у нас — десятки тысяч. Мне тоже будет трудно рассказать о положительном Сергее Яковлевиче — вот почему начну с отрицательного, плохого, т. е. "того".

Эфрон некоторое время в Москве подвизался на мелких ролях в Театре Таирова. Но нам казалось, что он совершенно исключительный актер, достойный главных ролей. Особенно у Шекспира.

Несколько разыгранных перед нами сцен в исполнении "того" Сергея Яковлевича я запомнил на всю жизнь, как помню театр "Габима", Таирова, Мейерхольда, Вахтангова, "Олд Вик" и таких актеров, как Чаплин, Лоренс Оливье, Жан Луи Барро, Михаил Чехов, Николай Черкасов и Ростислав Плятт.

Думаю, что не ошибусь, если назову его коронной ролью роль человека, глотающего устрицы. Главный его герой в этой сцене был типа князя К. из "Дядюшкина сна" Достоевского: "...князь К. был еще не Бог знает какой старик, а между тем, смотря на него, невольно приходила мысль, что он сию минуту развалится... он был весь составлен из каких-то кусочков... носил парик, усы, бакенбарды и даже эспаньолку — все, до последнего волоска, накладное... зубы тоже были из композиции". Этой внешности Сергей Яковлевич добивался мимикой, жестами и той речью, которая была характерной для князя

К.: "разговаривая, он как-то особенно протягивает иные слова, — может быть, от старческой немощи, может быть, оттого, что все зубы вставные".

Князь К. глотает устрицы — лучшие в мире, с острова Олерона — в фешенебельном ресторане на Елисейских полях. Вокруг него склонившиеся в три погибели метрдотель и официанты. Об этом мы узнали из манеры князя К. говорить с ними. Не буду рассказывать о всей длительной подготовке появления устриц на столе перед князем К. Устрицы обрабатываются различными специями, среди которых самую важную роль играет лимон. Герой — сначала отдельно от устриц — пробует его на язык, отчего лицо его искажается кислой гримасой.

Наконец, он подносит к тщедушному от жадности, полуразвалившемуся рту раковину, сияющую белоснежным перламутром. Зритель чувствует торжественность и важность этого мгновения.

Но... только-только на лице его появляется предвкушение, а также намерение слизнуть устрицу с раковины, как она вдруг подпрыгивает, взвизгивает и шлепается на скатерть. Метрдотель и гарсоны бросаются на помощь князю К.

У князя лицо обиженного ребенка, в глазах жадность, злость к непослушной устрице и недовольство обслуживающим персоналом (и даже это "тот" Сергей Яковлевич умел показывать!). Иногда князь испуганно вздрагивал, когда устрица возобновляла свои жалобные взвизгивания.

Несколько попыток вернуть зарвавшуюся устрицу в тарелку и уложить ее назад в перламутровую раковину не удаются, устрица уже не только взвизгивает, но даже хрюкает по-свиньячи*.

Наконец, с помощью метрдотеля и его подручных князю удастся слизнуть устрицу, которая, прежде чем быть проглоченной, мстит князю тем, что брызгает в его глаза лимоном и уксусом!

Было в этой сцене и нечто эротическое, которое Сергей Яковлевич смягчал, если среди зрителей были девушки: устрицы превращались в страстные женские губы и были как две пиявки. Свою интермедию об устрице он обычно кончал афоризмом из Козьмы Прутков: "И устрица имеет вразов".

Естественно, что у зрителей такой сцены надолго пропадает охота глотать устриц, — лишнее доказательство

* Как известно, устрица — животное молчаливое, молчаливее рыб, которые с недавних пор заговорили. Основу своей игры Сергей Яковлевич строил на том, что устриц глотают живыми, а что они визжат — это его выдумка.

* О чем свидетельствует в своих воспоминаниях жена Таирова, замечательная актриса Алиса Коонен.

влияния потрясающего искусства на жизнь, быт и даже пищу.

Было у "того" Сергея Яковлевича еще несколько интересных театральных ролей. Запомнился допрос белогвардейским офицером попавшего в плен ходякитайца, каких было немало в Красной Армии. У Сергея Яковлевича было два варианта этой сцены, из первого я помню кульминацию допроса перед расстрелом.

— За что сражаешься, ходи?

— За родную Кубань*.

А второй вариант возник из моих детских воспоминаний о китайцах, которыми я поделился с Сергеем Яковлевичем, и предназначался только для мужской аудитории.

Был большой наплыв китайцев в Россию еще до первой мировой войны: это были уличные торговцы чесучой. Мы их дергали за косы, они насогревали металлическим аршином. Вторая волна китайцев ворвалась к нам, и уже огромным числом как рабочая дешевая сила, во время войны. У моего отца-инженера работало их немало. Навсегда запомнил сцену в конторе, свидетелем которой был в возрасте 14-ти лет. Один китаец, говоривший по-русски, жаловался отцу на другого китайца, что ночью в бараке, где они жили, тот ему "сраку ломайло".

Помню еще один образный рассказ Сергея Яковлевича, который недурно пел, о том, как в вагоне-ресторане, в котором обитал генерал Слащев, любивший наркотики и водку, поет для него Вертинский: "Занесло тебя снегом, Россия..." и что-то о погибающих юных юнкерах: "Я не знаю, кому и зачем это нужно, кто послал их на смерть недрожжащей рукой..."

А главное, чего мы больше всего боялись, - это умение "того" Сергея Яковлевича схватывать наши недостатки и раздувать их до геркулесовых столбов. Мы сразу узнавали, о ком из нас идет речь. Обладая в достаточной мере остроумием, даром имитации и подражания — и огромным запасом насмешки, — "тот" Сергей Яковлевич мог обидеть любого до слез.

Еще помню одну роль в обширном репертуаре Эфрона: роль палача, убийцы по призыванию или по приказу. В лучших шекспировских театрах Англии - в лондонском "Олд Вик" и в Стратфорде-он-Эйвон — лучше всех ролей, лучше Гамлета, Отелло, Ричарда III или Ромео, игрались роли наемных убийц, палачей и еще ведьм из "Макбета". Не

знаю почему. Так вот, в роли палача блистал и таировский Эфрон Сергей Яковлевич. Он сумел к шекспировскому образу палача прибавить черты и нашего национального, заплечного мастера, или "ката" времен царя Алексея Михайловича, который специальным уложением 1649 года обязывал все города иметь собственных палачей. В середине XIX столетия в Москве был создан центр палачей в ведении полицмейстера А. Юрьева. Во Франции должность палача была наследственной; так, например, семья Саксон с 1688 года до февральской революции 1848 года непрерывно поставляла палачей. В американских государствах имеются штатные палачи и поныне.

Итак, перед вами, дорогие читательницы и читатели, Сергей Яковлевич ТОТ, Сергей Яковлевич Эфрон — отрицательный, противный, насмешливый, злой и плохой, которого мы все боялись, но к таланту которого неудержимо влеклись.

Что же рассказать вам о Сергее Яковлевиче ЭТОМ? О Сергее Яковлевиче положительном, добром, хорошем? О Сергее Яковлевиче, очаровывающем каждого, кого он хотел очаровать (недаром в него влюблялись все встречные женщины)? О Сергее Яковлевиче — мягком русском интеллигенте глубокой эрудиции, высоком ценителе всех видов искусства и блистательном писателе малой формы? О большом общественном деятеле, каким он показал себя в новом и модном тогда для Русского Зарубежья евразийском движении, оставившем большой след в истории русской философской мысли и не успевшем перебраться на родину, ибо тут было место только для одной мысли — мысли Маркса и Энгельса, что характерно и для сегодняшней России? Об "этом" Сергее Яковлевиче я ничего не скажу. Теперь — полвека спустя — я даже не знаю, был ли он на самом деле, или это только мне когда-то приснилось?

Может, все-таки это не было сном? Я покажу вам это письмо:

"Родной Володенька!

Я сейчас бегал по паспортным делам и под вечер без ног. Зайду, как только с этим покончу.

Если что придет на мое имя, направьте, пожалуйста, по моему адресу.

Сувчинский денег не оставил!!! Я именно их и жду на Ваш адрес.

Мирский к Вашей теме отнесся сочувственно. Кроме того, очень просит Вас написать ругательную статью о Пантелеймоне Романове и "Изгоях" Федора Гладкова. Из

* Чем это хуже светловской "Гренады"?!

первого, как в России, так и в эмиграции, сделали знаменитость. А он черт знает что.

Обнимаю. Ваш С. Э.

Как дела с братом? Мирский очень хорошо отзывался о Вас".

Ведь спору нет: писал это письмо добрый, нежный, родной человек. Значит, был?

А какой Сергей Яковлевич писал это письмо шестнадцатилетней Ариадне Черновой?

"Великий Вторник

1925 г.

Воистину Воскрес!

Дорогая Аденька!

Спасибо за поздравление и память. Нет, я не забыл ни Вас, ни Ольгу Елисеевну. Вспоминаю с нежностью и любовью вас обеих. А если не пишу, то только из-за пражской кутерьмы и постоянной усталости.

Не забыл и прошлогодней заутрени. Помните лихорадочное приготовление из картона куличных форм? А потайную комнату для пасхальных припасов? Мы прятались в ней от жирного сына Самойловны, но он все же настиг нас и до самой заутрени обиженно моргал глазами.

Была гроза, и молния ударила в наш громоотвод. Потом мы чистили селедки и готовили себе постную пищу, а Марина и Аля (тогда еще шкелетообразная) соблазняли нас югуртом.

Под дождем спустились с горки к трамваю. Там встретились с мрачным чудом природы — сыном Харламова (16 лет — 5 пуд. — 1 саж.) и все вместе поехали в церковь.

В церкви Марина ругалась с каким-то юношей, шипела на соседей и рвалась домой.

"Ох, опять эти паки и паки..."

Промокшие, вернулись домой. В коридоре нас встретил мексиканец воплем: "Луиз!.."

Видите — все помню.

А эта Пасха для меня отравлена моим театральным выступлением в "Грозе". Увы! Та прошлогодняя гроза была и спокойнее, и приятнее. Я десять лет не был на сцене и потому очень волновался. Но, слава Богу, спектакль для меня уже не "завтра", а "вчера".

Это был первый Маринин выезд за это время в город.

В Светлое Воскресенье к нам понаехало много гостей и М. была сердитой. Гости трусливо посматривали на М. и не знали, что им делать. Я трусливо посматривал и на М., и на гостей и тоже не знал, что делать...

Наш мальчик Вам бы очень понравился... Ни одной моей черты и все от Марины: глаза, нос, губы, руки — маленький Марин Цветаев. Он очень тих, очень кроток, очень серьезен и очень жаден на еду. Последняя черта, верно, отцовская (бараны!). Я к нему уже так привык, что странно подумать, что три месяца назад его не было.

Теперь мы с Вами породнились. Ваша мама — моя кума, а Вы... дочь кумы (наверное, у русских есть особое обозначение для этого: двоюродная кума, или кумовная племянница).

...Как здоровье Розенталя? *

Сергей Яковлевич (ТОТ <разбивка его. — В.С.>) с некоторых пор поминает его в своих молитвах: "Да размягчится сердце его! Да раскроются сокровищницы его!" Сердечный привет Вам, маме и сестрам".

Ваш С. Эфр".

Попробуем разобраться во всем.

Со слов Евгения Борисовича Пастернака я совсем недавно узнал, что Марина Ивановна сказала одному из наших крупнейших поэтов — Арсению Александровичу Тарковскому:

— Сергей Яковлевич? Это страшный человек.

Сказано это было вскоре после его ареста, видимо, еще до его расстрела.

Время многому помогает. Уяснению подлинных масштабов событий, в частности.

Я считаю теперь самой значительной моей встречей с Сергеем Яковлевичем именно ту, которая произошла в моем кабинете Франко-Славянской типографии в те самые дни, когда к моей должности секретаря редакции "Воли России" прибавилась по совместительству, как нынче принято говорить, еще одна должность: директора знаменитой русской типографии на рю Менильмонтан, на той улице, которую воспел Морис Шевалье.

Принимал ли участие Эфрон в похищении генерала Кутепова, я не помню. Как известно, Кутепов оказал серьезное сопротивление схватившим его обманным способом уже в самом такси с русским водителем и его не удалось живым доставить в Москву — его труп был найден в Париже.

В похищении следующего, председателя Всероссийского Общевоинского союза — генерала Миллера Эфрон принимал самое близкое участие, как и известная

* Самый богатый человек в эмиграции. Помимо его стокиловой жены, на писательских балах с головы до ног в жемчугах и алмазах. Помогала Цветаевой через Чернову.

певица Надежда Плевицкая, к книге которой "Дёжкин Карагод (Мой путь к песне)" написал в свое время Алексей Ремизов блестящее вступление "Венец". Генерала Миллера Эфрону удалось доставить живым в Москву.

Не менее близкое участие принимал Эфрон в убийстве советского агента-перебежчика Игнатия Рейсса-Порецкого.

С этих подвигов нашего героя и началась наша беседа на рю Менильмонтан. Чтобы не быть многословным, передаю лишь суть нашей тягостной беседы, стоившей мне бессонной ночи и окончательного разочарования в друге.

— Вот как я мыслю, Володенька (я к нему обращался обычно по имени и отчеству, а он ко мне либо "голубчик", либо "Володенька", хотя старше меня он был всего на восемь лет), наше с вами положение. Оба мы крепко — вспоминаю вашу повесть, несомненно глубоко правдивую, — согрешили перед родиной: проливали народную кровь, кровь трудящихся в защиту буржуазного дерьма и монархической сволочи. И вот сегодня, когда мы так мучительно жаждем вернуться на родину, вернуться честными и чистыми от всех прегрешений наших, мы должны потрудиться для нее, подвергая себя и семью свою опасности, и, если того требует дело, если того требует Москва... вплоть до пролития крови...

А кончился наш разговор весьма бурно и тяжело после того, как я сказал:

— Согласен с вами, Сергей Яковлевич, — вплоть до пролития крови,

но своей, а не чужой!

Когда С. Я. заговорил со мной о работе для Москвы, в ЭТОМ С. Я. я тотчас прощупал ТОГО. Да, со мной говорил чекист, наемный убийца, палач из "Олд Вик", С. Я. плохой, злой, глотающий живых устриц, и если б только устриц.

В начале 1973 года, когда я ехал из Москвы в Париж месяца на три, Антонина Николаевна Пирожкова передала мне для Андре Мальро сборник воспоминаний, ею составленный для издательства "Советский писатель", об И. Бабеле, который был большим другом Мальро.

Из Парижа я написал ему об этом, и он пригласил меня к себе, в свой легендарный замок Château de Verrières в Буиссоне. Прощаясь, Андре Мальро подарил мне свою "La tentation de l'Occident" и книгу воспоминаний о нем его первой жены; о последней книге он сказал так: "Там есть много о ваших соотчичах. Для вас будет интересно". Да, мне было не только интересно, но... и очень горько.

Вот что записано у меня об этом в очерке "Франко-Славянская типография".

"Как-то на службу ко мне зашел Эфрон.

— Я слышал, Володенька, у вас тут бывает сын Троцкого. Хотелось бы взглянуть на него, любопытно все-таки.

— Он человек очень неразговорчивый, всем отказывает во встречах. Он не будет делать исключения для вас, Сергей Яковлевич... Он и со мной, директором типографии*, не разговаривает. Слов никаких, а только цифры, когда платит за очередной номер.

— Я тоже с ним говорить не буду. Только посмотрю на него. Когда он бывает?

— По субботам, после обеда.

Вот в ближайшую субботу Эфрон снова зашел ко мне. Я молча глазами указал ему на дверь соседней комнаты.

И слышу голос Сергея Яковлевича, как всегда вкрадчивый и ласковый (перезаписывая теперь, прибавлю: голос "этого" Сергея Яковлевича):

— Здравствуйте! Можно попросить у вас интервью для такого-то русского издания?

В ответ — зловещее молчание... потом холодный голос Седова:

— Я никому не даю интервью. Простите, но у меня срочная работа.

Сергей Яковлевич вышел из комнаты своей обычной кошачьей походкой и, повернувшись ко мне, смущенно развел руками".

Эта сцена вдруг — впервые за много-много лет — всплыла передо мною, и время, многому нас обучающее, поставило ее на настоящее место в ряду различных событий, когда я читал книгу первой жены Андре Мальро о своей жизни со знаменитым писателем.

Там есть такое место.

Квартира Мальро в Париже была превращена в bûgeau de recrutement добровольцев в республиканскую армию Испании, в интернациональную бригаду, возглавляемую Андре Мальро.

Хозяин квартиры был уже на фронте, здесь заменила его хозяйка.

Как-то выглянула она в приемную, где сидели вербующиеся рекруты-волонтеры. Следующий в очереди был типично русский, но он выразил желание быть принятым последним.

* В которой печатался еженедельник "Бюллетень оппозиции", впервые опубликовавший текст завещания Ленина о "любителе острых блюд Сталине" и автобиографию Льва Троцкого (отрывки).

И вот когда она отпустила всех, состоялся такой разговор между ними:

— Я вас где-то видела.

— Да, мадам Мальро, за рулем машины. Я вез вас и вашего мужа к Троцкому. Как-то так случилось, — результат вечной конспирации, — я ведь обычно никому не говорю, что я его сын, и вы мадам, наверное, подумали, что я его шофер. Сегодня у меня к вам специальная просьба. Я твердо решил, что мое место в Испании, как сына организатора Красной Армии. Я не могу сейчас заниматься ничем другим, не могу издавать, наверное, известный вам журнал "Lutte des classes", центральный орган Интернационала. Его я издаю вместе с моим другом Pierre Naville. Он ведь заместитель отца на посту председателя Интернационала. Кроме того, я редактирую на русском языке еженедельник "Бюллетень оппозиции". Но я спокоен: и там и тут найдутся люди, чтобы заменить меня. Мой же долг в наше время быть в рядах испанской Красной Армии.

И Седов замолчал.

— Меня очень радует ваше решение, комрад Седов. Ваше имя украсит нашу интернациональную бригаду. Но я все-таки не поняла, какую вы имеете специальную просьбу ко мне?

— Вы сами, мадам, сейчас сформулировали эту мою просьбу, но — увы! — как раз с обратным тезисом. Я именно хочу, чтобы имена Троцкого или Седова не украшали вашу бригаду; я хочу, чтобы только вы, мадам Мальро и мсье Мальро, только вы двое знали, кто я. Но знать вы должны, ну хотя бы на тот случай, чтоб сообщить отцу, если со мной на фронте что-нибудь случится. Я думаю, что это мое желание, если вы вдумаетесь, вы все же исполните и запишете меня добровольцем при таких условиях...

Каково же было мое огорчение, — так заканчивается эта глава в книге госпожи Мальро, — когда на явку Седов не явился, чтобы ехать в Испанию, а наутро я прочла в газетах о его смерти от аппендицита на операционном столе под скальпелем хирурга.

Когда я читал эти строки, будучи в Париже в 1973 году, я вдруг вспомнил про визит Сергея Яковлевича Эфрона в мою типографию — два визита! — с единственной целью увидеть собственными глазами Седова.

.....
Да, время нас многому учит. Время — это не история, история, — как кто-то мудро сказал, — учит нас лишь одному — тому, что она никого ничему не научила. Время

поставило воспоминание на настоящее место в ряду событий: я вспомнил вдруг — так же неожиданно, как встречу в моей типографии Эфрона с Седовым, — свою беседу с нашим брошюровщиком Лейбовичем в ту субботу, когда я в последний раз видел живым Седова.

Из типографии в тот день не звонили в "скорую помощь", никто ее не вызывал. Между тем Лейбович из окна своей брошюровочной, выходящей на улицу Менильмонтан, видел, как вышедшего Седова люди в белых халатах втолкнули в машину "скорой помощи".

Так мне — лишь много-много лет спустя — стало ясно: еще одно преступление Сергея Яковлевича Эфрона, дотоле никому не известное.

В конечном счете сегодня я думаю так: был на свете хороший, положительный и добрый Сергей Яковлевич, был! Но был и плохой. И плохо кончил: его работодатели не удовлетворились чужой кровью, что пролил он, они пролили и его кровь.

Благословенное время, на которое я все время ссылался, и оно могло — это не исключается — ввести меня в заблуждение. Может быть, в историю гибели Седова время подбросило мне некое искажение. Тем более, что Лев Седов скончался в среду 16 февраля 1938 года, а С. Я. Эфрон покинул Париж в октябре 1937 года.

Вспомнил я еще и мою беседу с Pierre Naville (кстати, из очень богатой и аристократической семьи), издававшим у меня ежемесячник по-французски "Битва классов", помню только одно: он интересовался, когда в последний раз я видел Седова и все ли было как обычно.

Братьям писателям, буде они захотят разыграть посмертно еще одну игру, на этот раз с Эфроном (ох, широк русский человек, вздыхал Достоевский, я б его сузил!), как они в прошлом разыгрывали с Ахматовой, Пастернаком, Цветаевой или Солженицыным, пусть не ссылаются на меня: заранее говорю — это лишь домыслы.

*Вступительная заметка и
публикация С. СОСИНСКОГО-СЕМИХАТА.*